



Н. К. МИХАЙЛОВСКИЙ

Герой безвременья

II

Не надо быть последователем Карлейля¹ с его культом «героев», чтобы признать факт существования людей, по самой природе своей призванных вести других за собой, стоять впереди других. Это, однако, отнюдь не непременно благодетели человечества (как думал Карлейль), или своей родины, или просто окружающих людей. Они могут быть и таковыми, но точно так же могут представлять собою исходные пункты огромных зол, потому что могут вести за собою толпу на злое дело и быть, по старинному образному выражению, настоящими «бичами Божиими». Став на эту точку зрения, мы должны допустить в прирожденных властных людях или героях возможность значительных умственных и нравственных изъянов: зло, ими распространяемое, очевидно, составляет результат либо ошибочного понимания, узкости кругозора, односторонности мысли, вообще какого-нибудь умственного недостатка, либо нравственной извращенности, недостатка нравственного. И действительно, история свидетельствует, что во главе того или иного движения, энергически воздействуя на своих современников, соотечественников, соплеменников, сотрудников, сотоварищей, становятся иногда люди ограниченные, а иногда жестокие, мелочно самолюбивые, развратные. Обращаясь к самому понятию героя как вожака, как первого в своем роде человека, которому безотчетно повинуются или за которым безотчетно следуют другие, мы увидим, что добродетели могут его и не украшать, они не составляют необходимой его принадлежности. Быть может, единственное нравственное качество, безус-

ловно необходимое «герою», есть смелость. Но и то, это такое качество, которому нелегко точно указать место в ряду добродетелей. Некоторые выдающиеся умственные качества — если не глубокий ум и широкий полет мысли, то, по крайней мере, быстрота соображения, известный такт в сношениях с людьми, известные таланты, — по-видимому, обязательны для прирожденных властных людей. Не говоря, однако, о том, что обязательный минимум их умственных сил может быть, при известных условиях, вовсе незначителен, нетрудно видеть, что центр тяжести «героя», во всяком случае, лежит не в области ума. Герой есть прежде всего представитель инициативы, человек почина, первого шага, энергической воли и мгновенной или постоянной решимости. Все остальное, как в его собственной личности, так и в характере предпринятого им дела, есть сцепление побочных обстоятельств: герой может быть ума гениального или посредственного, блистать добродетелями или грязнуть в пороках, равным образом и дело его может быть велико или ничтожно, благотворно или вредоносно. Все это, разумеется, может иметь чрезвычайно важное значение с разных других точек зрения; но когда мы хотим выделить основные, типически необходимые черты героя, то на первом месте должна быть поставлена его роль человека, дерзающего совершить то, перед чем другие колеблются, и затем превращающего это колебание в покорность. У героя, с одной стороны, и у следующих за ним или повинующихся ему — с другой, должна быть некоторая общая почва, иначе невозможно было бы их взаимодействие; в состав этой общей почвы могут входить разнообразные умственные и нравственные элементы. Но затем есть нечто, резко отделяющее героя от толпы, резко выдвигающее его вперед. Это нечто состоит в том, что герой дерзает и владеет. Дерзать и владеть есть такая же специфическая внутренняя потребность героя, как потребность творчества в поэте или потребность философского обобщения в мыслителе. В какие бы условия ни был поставлен прирожденный властный человек, он, как паук паутину, бессознательно, инстинктивно плетет сеть для уловления и подчинения себе людских сердец — удачно или неудачно для себя лично, на благо или во вред другим.

Если мы будем искать в лермонтовской поэзии ее основной мотив, ту центральную ее точку, которая всего чаще и глубже занимала поэта и к которой прямо или косвенно сводятся если не все, то большинство его произведений, найдем ее в области героизма. С ранней молодости, можно сказать с детства, и до самой смерти мысль и воображение Лермонтова были направ-

лены на психологию прирожденного властного человека, на его печали и радости, на его судьбу, то блестящую, то мрачную. Следы этого преобладающего и всю поэзию Лермонтова окрашивающего интереса не так заметны в лирике, потому что сюда вторгаются разные мимолетные впечатления, которые, на мгновение всецело овладев поэтом, отступают потом назад, чтобы более уже не повторяться или даже уступить место совершенно противоположным настроениям. Мы уже видели образчик этой переменчивости настроений во внезапной вспышке шотландского патриотизма². Что же касается настоящего русского патриотизма Лермонтова, то достаточно сравнить стихотворения «Опять, народные витии...» и «Родина» («Люблю отчизну я, но странною любовью...»). Резкая разница между этими двумя стихотворениями естественно объясняется лежащим между ними десятилетним промежутком (1831 и 1841 гг.)³, в течение которого поэт вырос до неузнаваемости. Однако и в лирике, среди этих внезапных, быстро гаснущих вспышек и противоречий, объясняемых естественным ходом развития, вышеуказанный основной мотив дает себя знать постоянно, так что и здесь помимо него трудно подвести итоги лермонтовской поэзии. Но в поэмах, повестях и драмах дело, во всяком случае, яснее.

Нечего и говорить о «Демоне». Этот фантастический образ существа, когда-то дерзнувшего совершить высшее, единственное в своем роде преступление — восстать на самого Творца и который затем в течение веков «не встречал сопротивления» в подвластных ему миллионах людей, — этот образ достаточно всем знаком и достаточно ясно говорит сам за себя. Достоинство внимания и упорство, с которым Лермонтов работал над «Демоном», постоянно его исправляя и дополняя. Одновременно с первоначальным очерком «Демона» писалась прозаическая повесть, неоконченная, оставшаяся даже без заглавия. Позднейшие издатели дают ей название «Горбун», или «Горбач Вадим»⁴. Герой этой повести есть тот же Демон, только лишенный фантастических атрибутов и притом физически безобразный. Он, как Демон, богохульствует, как Демон, переполнен ненависти и презрения к людям, как Демон, готов отказаться от зла и ненависти, если его полюбит любимая женщина. А главное, Вадим, как Демон, имеет таинственную власть над людьми. Эта черта обрисовывается на первой же странице повести, когда Вадим появляется в толпе нищих у монастырских ворот. «Его товарищи не знали, кто он таков, но сила души обнаруживается везде: они боялись его голоса и взгляда, они ува-

жали в нем какой-то величайший порок, а не безграничное несчастье, демона, но не человека». Горбач Вадим «должен бы был родиться всемогущим или вовсе не родиться». Он был «дух, отчужденный от всего живущего, дух всемогущий». Любопытно описание глаз Вадима: «Этот взор был остановившаяся молния, и человек, подверженный его таинственному влиянию, должен был содрогнуться и не мог отвечать тем же, как будто свинцовая печать тяготела на его веках; если магнетизм существует, то взгляд нищего был сильнейший магнетизм».

«Горбун» есть совершенно детская вещь, переполненная насыщенные описаниями и невозможными трескучими эффектами, которые особенно бросаются в глаза благодаря прозаической форме повести; прелесть и сила даже юношеского лермонтовского стиха, конечно, много бы ее скрасили. Но тем поразительнее разбросанные в повести отдельные замечания, наблюдения, сопоставления, которые сделали бы честь и вполне зрелому уму. Что же касается черт прирожденного властного человека, то мы встречаем их и в самом зрелом из крупных произведений Лермонтова — в «Герое нашего времени». Печорин говорит о себе: «Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути... Честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде; ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие — подчинять моей воле все, что меня окружает. Возбуждать к себе чувства любви, преданности и страха — не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиной страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права — не самая ли это сладкая пища нашей гордости?» Любимая женщина пишет Печорину: «Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин — не потому, чтобы ты был лучше их, о нет! Но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоём голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым». Печорин и сам задумывается: «Одно мне было всегда странно: я никогда не делался рабом любимой женщины, напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь. Отчего это? Оттого ли, что я никогда очень ничем не дорожу и что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? или это — магнетическое влияние сильного организма? или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером?»

В юношеской драме «Испанцы» главное действующее лицо, молодой Фернандо, характеризуется иезуитом Соррини так: «Повеса он большой и пылкий малый, с мечтательной и буйной головой. Такие люди не служить родились, но всем другим приказывать». В «Menschen und Leidenschaften» Заруцкий говорит о герое драмы: «Волин был удалый малый: ни в чем никому не уступал — ни в буянстве, ни в умных делах и мыслях: во всем был первым, и я завидовал ему». Герой неоконченной стихотворной повести «Литвинка» — «повелевать толпе был приучен». Измаил-Бей — «повелитель, герой по взорам и речам». Он принадлежит к числу «детей рока», которые «в море бед, как вихри их ни носят, пособий от рабов не просят, хотя их превзойти в добре и зле, и власти знак на гордом их челе». В «Фаталисте», как только Вулич обнаруживает из ряда вон выходящую решимость, готовясь совершить безумно рискованный шаг, происходит следующая сцена: «Он знаком пригласил нас сесть кругом. Молча повиновались ему: в эту минуту он приобрел над нами какую-то таинственную власть».

И т. д. Я мог бы еще увеличить число этих выписок, но и приведенного довольно, чтобы видеть, какое пристальное внимание уделял Лермонтов во все периоды своей жизни той странной власти, которую обнаруживают некоторые люди, «не имея на то никакого положительного права». Но он не просто отмечал факт этой власти. Он с ранней юности анализировал его, взвешивал его значение, делал из него выводы, иногда несколько смутные, а иногда поразительные по глубине мысли. В этом отношении особенно замечательна вышеупомянутая, мало обращающая на себя внимание и, кажется, даже не во все новые издания вошедшая повесть «Горбун». Мне случалось слышать мнение, что это вещь, совершенно недостойная Лермонтова, а потому и внимания не стоящая. Это и справедливо, если иметь в виду только художественную форму. Но и по замыслу, и по общему содержанию, и по блескам оригинальной мысли «Горбун» есть произведение лермонтовское по преимуществу, если можно так выразиться, хотя Лермонтову было всего шестнадцать лет, когда он писал его⁵. Местами слишком недетское содержание, заключенное в совершенно детскую форму изложения, производит даже неприятное впечатление чего-то старообразного. Становится даже как будто жалко автора, который, будучи так явно ребенком, вместе с тем так много передумал и переживал.

Между прочим, шестнадцатилетний автор замечает: «Теперь жизнь молодых людей более мысль, чем действие; героев

нет, а наблюдателей чересчур много». Это скорбное замечание на всю жизнь осталось руководящим для Лермонтова. Им определяются существеннейшая часть содержания его поэм, драм и повестей, характер его лирики и, наконец, бурные волны его собственной жизни. В развитии этой темы он достигал и непревзойденных вершин художественной красоты, и, я решаю сказать, предчувствия научной точности в постановке соотносящихся вопросов.

Неудивительно, что юное воображение пленяется каким-нибудь Измаил-Беем, красавцем в живописном костюме, скачущим на борзom коне среди грандиозной кавказской природы или врубающимся в ряды неприятелей, привлекающим все женские взоры, мстящим по-рыцарски — лицом к лицу и при дневном свете. Здесь все красиво, изящно, благородно. Но Вадим — что в нем пленительного? Он — горбатый, уродливый, грязный нищий, он зол и жесток, он, терпеливо выжидая часа мести, холопствует, терпит побои, ругательства. К чему и чем может в нем прилепиться юная душа, полная образов и картин художественной красоты? А между тем Лермонтов, тщательно отмечая каждую черту физического безобразия Вадима и каждое его злое побуждение, явно находит в себе симпатичные этому злomu уроду струны и, не обинуясь, называет его «великой душой». Полная зрелость мысли и бесповоротная убежденность сказались в той смелости, с которою юный Лермонтов вселил «великую душу» в такое, по-видимому, во всех отношениях неприятное существо, как Вадим. Для этого надо твердо знать, в чем состоит величие души, и твердо верить в свое знание. Мы на каждом шагу видим, что литераторы, набившие себе руку в писании романов и повестей, литераторы чрезвычайно искусные, которые справедливо постыдились бы подписаться под такой детской вещью, как «Горбун», норовят подкупить читателей, да и себя, в пользу своих героев их физической красотой и обилием добродетелей. Шестнадцатилетнему Лермонтову не нужно было этих подкупов и побочных поддержек. Он своим Вадимом точно нарочно хотел показать, что умеет абстрагировать, отвлечь «величие души» от всех посторонних примесей и предъявить его с такою ясностью и силой, что его не заслонят ни горб, ни порок. В чем же полагал юноша Лермонтов «величие души»? В одну особенно трудную минуту, когда Вадим убил по ошибке не того, кого хотел убить, «он, казалось, понял, что теперь боролся уже не с людьми, но с провидением, и смутно предчувствовал, что если даже останется

победителем, то слишком дорого купит победу; но непоколебимая железная воля составляла все существо его, она не знала ни преград, ни остановок, стремясь к своей цели».

Таков человек «великой души», он же и «герой» в смысле прирожденного властного человека, каким и является в повести Вадим. Мы увидим те ограничения, которые Лермонтов сам ставил такому беспощадно абстрактному пониманию «героя». А теперь заметим любопытную скептическую черту в изображении благородного красавца Измаил-Бея. Он, как мы видели, «повелитель, герой по взорам и речам». Но одно время, при самом появлении в поэме этого горца, воспитанного в России, автор в нем сомневается: «...горе, горе, если он, храня людей суровых мненья, развратом, ядом просвещенья в Европе душевной заражен! Старик для чувств и наслажденья, без седины между волос, зачем в страну, где все так живо, так беспокойно, так игриво, он сердце мертвое принес?» Скоро оказывается, однако, что первое же дуновение родины смело налет «разврата, яда просвещенья». Нищего и жестокого уroda Вадима «яд просвещенья» не коснулся, и юный автор в нем не сомневается... Арбенин (в «Маскараде») «изнемог под гнетом просвещенья» и сам над собой с горечью иронизирует: «Так! в образованном родился я народе: язык и золото — вот наш кинжал и яд!» Печорин излагает нечто в этом же роде. И по лермонтовской лирике там и сям перебегают блестящие искры отрицательного отношения к «глубоким познаниям», к «бремени познания», к «науке бесплодной».

Критика много умствовала по поводу этого странного на первый взгляд протеста против «просвещения», толкуя его вкривь и вкось. Между тем здесь не представляется никакой надобности умствовать, надо только уметь читать. Знаменитая «Дума» есть одно из самых ясных стихотворений Лермонтова, не допускающих двойного толкования. Поэт печально глядит «на наше поколенья»: «...под бременем познания и сомненья, в бездействии состарится оно. К добру и злу постыдно равнодушны, в начале поприща мы вянем без борьбы; перед опасностью позорно малодушны и перед властью презренные рабы... Мы иссушили ум наукою бесплодной, тая завистливо от ближних и друзей надежды лучшие и голос благородный неверием осмеянных страстей». Еще недавно один критик хотел видеть в «Думе» выражение вековечного, в самой природе человека заложенного, безысходного разлада между разумом и чувством, которые, дескать, никогда и не могут примириться: вечно ра-

зум будет разъедать чувство холодом своего анализа, вечно чувство будет протестовать против этого холодного прикосновения⁶. Лермонтов, однако, ясно указывал исход: он видел его не в разуме и не в чувстве, а в третьем элементе человеческого духа — в воле, которая, комбинируя и разум, и чувство, повелительно требует «действия», «борьбы». Если бы, однако, «Дума» оказалась в этом отношении недостаточно убедительной и ясной, то за подтверждением и развитием указанной мысли дело не станет в других произведениях Лермонтова. Бесспорно, Лермонтову были знакомы муки противоречия между горячностью чувства и холодом разума. Жизнь манила его к себе всею гаммой своих звуков, всем спектром своих цветов, а рано отточившийся нож анализа подрезывал цену всякого наслаждения. Отсюда — беспредметная тоска, проникающая некоторые из его стихотворений, тоска, характер которой иногда ему самому не ясен: «Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!» Иногда «смиряется души его тревога» под влиянием разных мимолетных впечатлений, но отлетают эти впечатления, и опять тоска. Однако среди всех этих колебаний, всех их переживая, держится тоже рано созревшее решение задачи жизни. Теоретически и в одинокой душе самого поэта решение готово: противоречие разума и чувства и все муки этого противоречия зависят от «бездействия», от отсутствия «борьбы». Найдите точку приложения для деятельности, и элементы мятущегося духа перестанут враждовать между собой. Но вопрос в том, возможно ли найти эту желанную и спасительную точку на практике? Возможно ли найти ее если не для всех людей сразу, то для тех прирожденно властных, для тех «героев», которые потом увлекут за собой и остальных? <...>

В «Фаталисте» Печорин смеется над старинными людьми, верившими, что светила небесные принимают участие «в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права». С нашей теперешней точки зрения смешны эти верования старинных людей. Но, говорит Печорин, зато «какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо с своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждения и гордости, без наслаждения и страха... неспособны к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья...

не имея ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и сильного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбой».

Если старинные верования, развеянные «ядом просвещения», были так спасительны, то не попытаться ли вернуть их или хоть не притвориться ли верящими, что небесные светила принимают участие в наших делах и делишках? Так и думают трусы, лицемеры и ханжи. Если яд просвещения отравляет нашу деятельную силу, то не заняться ли нам бездельничаньем в красивой позе безысходного разочарования и в эффектном костюме «нарядной печали»?⁷ Так и думают кокетничающие гамлетики и гамлетизированные поросята⁸. Но Лермонтов слишком искренно и больно переживал волновавшие его вопросы, чтобы закрывать глаза на их колючие стороны, и слишком жаждал деятельности, чтобы ограничиться нарядной печалью. Бывали и у него минуты слабости, оставившие свой след в его лирике. Но это именно только минуты слабости, за которые совершенно напрасно хватаются ханжи, лицемеры и трусы, с одной стороны, кокетничающие красивой позой — с другой. Всею своею жизнью и деятельностью Лермонтов самым ярким и резким образом ставит дилемму: или звон во все колокола, жизнь всем существом человека, жизнь мысли и чувства, претворяющихся в дело, или — «пустая и глупая шутка», в которой даже красивого ничего нет. Выбирайте любое. Такая решительная постановка вопроса вытекала из самых недр цельной и неделимой души Лермонтова. И он не переставал искать точки опоры для «действия», для «борьбы с людьми или судьбой», ибо в ней видел высший смысл жизни. <...>

III

С очень раннего возраста Лермонтова манила роль первого в своем роде человека, та власть, которая, не опираясь ни на какое «положительное право», тем не менее дает себя знать самым осязательным образом. Эти-то мечты он и объективировал в героях своих повестей, поэм, драм. Во всех героях повторяется, лишь слегка варьируясь, сам Лермонтов, каким он себя чувствовал или каким хотел бы быть.

Интересно, между прочим, заметить, что Лермонтов получил в юнкерской школе прозвище «Маёшка» и, очевидно, охотно носил эту кличку, потому что сам себя так называл в

некоторых юнкерских стихотворениях. Прозвище «Маёшка» происходило от Мауеих, имени горбатого героя какого-то французского романа⁹, и Лермонтов получил его за свою сутуловатость и, вообще, нестройность стана. Быть может, этот физический недостаток, не слишком сильный, чтобы упоминание о нем было оскорбительно для самолюбивого юноши, но все-таки выделявший его, обращал на себя внимание и прежде, до поступления в юнкерскую школу. Быть может, он послужил одним из толчков для создания *горбача* Вадима. И если Вадим, при всем «величии души» своей, есть кровожадный злодей, так ведь около того же времени, когда создавалась эта неоконченная повесть, юный поэт писал уже прямо о себе в одном из очерков «Демона»: «Как демон мой, я зла избранник»¹⁰. И в другом стихотворении: «Настанет день — и миром осужденный, чужой в родном краю, на месте казни, гордый, хоть презренный, я кончу жизнь мою, виновный пред людьми, не пред тобою, я твердо жду тот час»¹¹. И еще в одном стихотворении: «Когда к тебе молвы рассказ мое название принесет и моего рожденья час перед полмиром проклянет, когда мне пищей станет кровь и буду жить среди людей, ничью не радуя любовь и злобы не боясь ничьей»¹² и т. д. Таким образом, сочиняя своего свирепого горбуна, Лермонтов и сам мысленно готов был совершать какие-то ужасные преступления, упиваться кровью, заслужить проклятия полмира. Весьма возможно, что в стихотворении «Предсказание», навеянном ужасами чумы, с одной стороны, и дуновением июльской революции — с другой, Лермонтов именно о себе говорил: «В тот день явится мощный человек, и ты его узнаешь; и поймешь, зачем в руке его булатный нож. И горе для тебя: твой плач, твой стон ему тогда покажется смешон, и будет все ужасно, мрачно в нем». Но в то же время Лермонтов «и Байрона достигнуть бы хотел»¹³. Этому вполне соответствует характеристика «детей рока» в «Измаил-Бее»: они «хотят их («рабов») превзойти в добре и зле, и власти знак на гордом их челе».

Конечно, много даже комически-ребяческого в этих мечтах о роли хотя бы и злодея, но великого, первого, властного, и Печорин прав, когда говорит: «Мало ли людей, начиная жизнь, думают покончить ее, как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками». Но Лермонтов был не из того материала, из которого делают вечные титулярные советники. Он не в мечтах только, а и в действительности оказался способным «превзойти рабов в добре и зле» и носить «власти знак на гордом челе».

хотя и не в тех грандиозных размерах, какие рисовались его юношескому воображению.

В немногочисленных, к сожалению, письмах Лермонтова, сохранившихся для потомства, мы постоянно наталкиваемся то на «мучения тайного сознания, что он кончит жизнь ничтожным человеком»¹⁴, то на сообщения противоположного свойства, которые он сам готов называть «хвастовством», проявлениями «самого главного его недостатка — суетности и самолюбия»¹⁵. В одном из писем к М. Лопухиной (1832 г.), извещающем о переходе из Московского университета в юнкерскую школу, вставлено стихотворение личного характера, которое оканчивается так:

Ужасно стариком быть без седины!
 Он равных не находит; за толпою
 Идет, хоть с ней не делится душою:
 Он меж людьми ни раб, ни властелин,
 И все, что чувствует, — он чувствует один¹⁶.

Это чрезвычайно характерные строки. 18-летний юноша не находит себе равных, а так как затем остаются только положения раба, которым он быть не хочет, и властелина, которым он быть не может, то он становится вне общества в полном одиночестве. Так оно и было с Лермонтовым в университете. Как видно из записок его товарища Вистенгофа, поэт держал себя от всех в стороне, пренебрежительно и заносчиво. Вистенгоф рассказывает, между прочим, как он однажды обратился к Лермонтову с очень простым вопросом и как тот отвечал ему дерзостью. При этом, «как удар молнии сверкнули его глаза; трудно было выдержать этот насквозь пронизывающий, неприветливый взгляд»¹⁷. О необыкновенных глазах Лермонтова упоминают и другие современники. Так, Панаев вспоминает, что у него были «умные, глубокие, пронзительные черные глаза, невольно приводившие в смущение того, на кого он смотрел долго. Лермонтов знал силу своих глаз и любил смущать и мучить людей робких и нервических своим долгим и пронзительным взглядом»¹⁸. Читатель благоволит припомнить описание глаз горбача Вадима.

Презрительное отношение Лермонтова к университетским товарищам было совершенно неосновательно, так как это было время пребывания в Московском университете таких людей, как Станкевич, Герцен, Белинский. Надо думать, что Лермонтов, уже тогда считавший себя «океаном», в котором «надежд разбитых груз лежит»¹⁹, даже не попытался взглянуть в товарищей сколько-нибудь пристально и не то, что предпочел им

светское общество, как, по-видимому, думает Вистенгоф²⁰, а просто не выходил из этого светского общества, близкого ему по воспитанию и родственным связям. Да и слишком недолго пробыл Лермонтов в университетской среде.

Причины, по которым Лермонтов променял университет на юнкерскую школу, не совсем ясны. По-видимому, главный мотив состоял в нетерпеливом желании поскорее покончить со школой вообще, поскорее выйти в открытое море жизни. Во всяком случае, в юнкерской школе оказалось больше простора для осуществления тогдашней, частью бессознательной, а частью и сознательной программы Лермонтова: всех превзойти в добре и зле и носить власти знак на гордом челе. Здесь товарищи по школе были в большинстве случаев вместе с тем и товарищами в светском смысле, по своему общественному положению, воспитанию, привычкам. Здесь было, следовательно, больше той общей почвы, без которой никакой «герой» не может исполнять свою функцию — дерзать и владеть. И мы видим действительно, что Лермонтов, державшийся в университете от всех в стороне, пораженный товарищей своею угрюмою сосредоточенностью и серьезностью, в школе с первых же шагов старается стать, так сказать, в одну линию с другими, но, по возможности, впереди всех. «Старик без седин»²¹ становится во главе детских шалостей и слишком недетского разгула, из молодечества скачет на необъезженной лошади и платится за это повреждением ноги, связывает шомпола в узлы, соперничая с первым силачом школы²², и, наконец, решительно превосходит всех в сочинении непристойных, цинических стихов вроде «Петергофского праздника» или «Уланши».

Всем этим Лермонтов удовлетворял своей потребности дерзать и владеть, заложенной в него самую природою вместе с поэтическим даром. Были в нем и соответственные этой потребности силы, но какое пошлое и мерзостное приложение получали эти силы! Нельзя без отвращения читать «Уланшу», и, право, ничего не потеряли бы читатели и почитатели Лермонтова, если бы эти мерзости не печатались в изданиях его сочинений даже отрывками. Однажды разгульная компания молодых офицеров, едучи из Царского Села в Петербург, вздумала дать себе шуточные прозвища, именуясь которыми и записалась у городской заставы. Один назвался молдаваном Болванешти, другой — итальянцем Глупини, третий — маркизом Глупиньоном и т. д. Но одному из компании показалось, должно быть, этого мало: он назвался двойной фамилией и записал-

ся «российским дворянином Скот-Чурбановым». Это был Лермонтов...²³

К счастью, в Лермонтове было еще нечто, кроме потребности и силы всех превзойти, безразлично в добре ли или зле. Любуясь на непреклонный героизм горбача Вадима, на величие его души, он, однако, замечает: «Какая слава, если б он избрал другое поприще, если б то, что сделал для своей личной мести, если бы это терпение, геройское терпение, эту скорость мысли, эту решительность обратил в пользу какого-нибудь народа, угнетенного чуждым завоевателем. Какая слава, если бы, например, он родился в Греции, когда турки угнетали потомков Леонида... А теперь?.. Разобрав эти мысли, он так мал сделался в собственных глазах, что готов был бы в один миг уничтожить плоды многих лет, и презрение к самому себе, горькое презрение, обвилось, как змея, вокруг его сердца и вокруг вселенной, потому что для Вадима все заключалось в его сердце».

Это презрение к себе было знакомо и самому Лермонтову. В письмах к М. Лопухиной из юнкерской школы он то с напускным цинизмом как бы хвалится своими настоящими и будущими недостойными похождениями, то тут же, рядом, с явным отчаянием, дает этим похождениям ту именно цену, которой они стоят. Так, в июне 1833 г. он пишет: «Я, право, не знаю, каким путем идти мне, путем ли порока или пошлости. Оно, конечно, оба эти пути часто приводят к той же цели. Знаю, что вы станете увещевать, постараетесь утешить меня, — было бы напрасно! Я счастливее, чем когда-нибудь, веселее любого пьяницы, распевающего на улице. Вас коробит от этих выражений; но, увы! — скажи, с кем ты водишься, и я скажу, кто ты таков!»²⁴ В августе того же года: «Через год я офицер! И тогда, тогда... Боже мой! если бы вы знали, какую жизнь я намерен повести! О, это будет восхитительно! Во-первых, чудачества, шалости всякого рода и поэзия, залитая шампанским. Я знаю, что вы возопиете, но, увы! пора моих мечтаний миновала; нет больше веры, мне нужны чувственные наслаждения»²⁵. В 1834 г.: «Милый друг! что бы ни случилось, я все буду называть вас этим именем: иначе мне придется порвать последние нити, связывающие меня с прошедшим, а этого я не хотел бы ни за что на свете, потому что моя будущность, блистательная по-видимому, в сущности — пошлая и пустая. Нужно вам признаться, с каждым днем я все больше убеждаюсь, что из меня никогда ничего не выйдет»²⁶. Произведенный в офицеры, Лермонтов, оглядываясь назад, называет в

одном письме время пребывания в юнкерской школе «страшными годами»²⁷. И действительно, это были страшные годы, несмотря на их слишком веселый разгул или, вернее, именно вследствие этого разгула. Лермонтов был на волосок от окончательного погружения в омут пошлости, но, отдаваясь этому течению, по-видимому, с легким сердцем, хорошо знал его цену. Кроме писем к Лопухиной, в которых слышится отчаянный и тоскливый стон, мы имеем еще свидетельства его товарищей по школе, что, открыто стремясь к первенству во всяких шалостях и пошлостях, он втайне молился какому-то другому Богу. Так, Меринский рассказывает: «В то время Лермонтов писал не одни шаловливые стихотворения, но только небольшое и немногим показывал из написанного» («Атений» 1858 г., № 48, «Воспоминание о Лермонтове»)²⁸. В воспоминаниях, напечатанных в фельетоне «Русского мира» 1872 г. (№ 205), говорится: «По вечерам, после учебных занятий, поэт наш часто уходил в отдаленные классные комнаты, в то время пустые, и там один просиживал долго и писал до поздней ночи, стараясь туда пробраться не замеченным товарищами»²⁹.

Немудрено, что при таких обстоятельствах мрачные мысли все больше и больше накапливались в голове юноши, в придачу к тем, которые уже осели в нем от тяжелых впечатлений детства, а может быть, кроме того, и от слишком раннего проникновения в мрачную поэзию Байрона. Как у Вадима, змея, обвившаяся вокруг его сердца, обвивалась и вокруг вселенной, гнетущая мысль о собственном ничтожестве разрасталась в мысль о ничтожестве жизни. Но натура «героя» брала свое, потребность дерзать и владеть искала случая удовлетворить себя чем бы то ни было.

Только что произведенный в офицеры, Лермонтов пишет Лопухиной: «Я теперь бываю в свете для того, чтобы меня знали, для того, чтобы доказать, что я способен находить удовольствие в *хорошем обществе*... Ах!.. я волочусь и, вслед за объяснением в любви, говорю дерзости. Это еще забавляет меня несколько, и хотя это не совсем ново, зато не все так делают. Вы думаете, что за такие подвиги меня гонят прочь? О, нет! совсем напротив: женщины уж так сотворены. Я начинаю приобретать над ними власть»³⁰.

Итак, женщины — вот куда направится теперь жажда дерзать и владеть. Известно, что Лермонтов был, по его собственному показанию, влюблен десяти лет, чему придавал какое-то особенное значение³¹, и затем в детстве и ранней юности еще не

раз подвергался припадкам нежной страсти. Понятно, что все эти увлечения должны были быть несчастны. Барышни, к которым пылал любовью Лермонтов, либо издевались над ним, либо охотно слушали страстные или сентиментальные речи не по летам развитого, остроумного влюбленного мальчика, но потом выходили замуж или переносили свою благосклонность на более взрослых поклонников. А в сердце самолюбивого мальчика, уже мечтавшего о роли великого человека, эти «измены» отзывались страшною болью. Надо заметить, что любовь для Лермонтова была всегда чем-то отличным от любви, как ее обыкновенно понимают и чувствуют. Она для него так или иначе, иногда неясными для него самого нитями, связывалась все с тою же жаждою дерзать и владеть или, по крайней мере, стояла рядом с ней. В одной из его юношеских тетрадей есть заметка, озаглавленная: «Мое завещание (про дерево, под которым я сидел с А. С.)». Заметка оканчивается так: «Похороните мои кости под этой сухой яблоней, положите камень, и пускай на нем ничего не будет написано, если одного имени моего не довольно будет доставить ему бессмертие»³², — бессмертие, то есть загробное владение вниманием и сердцами людей. Печорин, говоря о наслаждении власти, подчеркивает в особенности власть над женским сердцем. Измаил-Бей, этот «повелитель, герой по взорам и речам», есть вместе с тем покоритель женских сердец: «Для наших женщин в нем был яд! Воспламенив воображенье, повелевал он без труда». С другой стороны, Демон и Вадим готовы примириться с жизнью и отказаться от своей грозной властной роли, если их полюбят — одного Тамара, другого Ольга. Выходит, что это как бы эквиваленты, легко замещающие друг друга. В «Горбаче Вадиме» есть одно место, в котором смутная мысль о какой-то эквивалентности любви и власти выражена настолько ясно, насколько это возможно для смутной мысли. Я выпишу это любопытное место целиком, без всяких пропусков. Сказав, что Юрий сразу стал близок и понятен Ольге, юный автор продолжает:

«Нельзя сомневаться, что есть люди, имеющие этот дар, но им воспользоваться может только существо избранное, существо, которого душа создана по образцу их души, которого судьба должна зависеть от их судьбы... и тогда эти два создания, уже знакомые прежде рождения своего, читают свою участь в голосе друг друга, в глазах, в улыбке... и не могут обмануться... и горе им, если они не вполне доверятся этому святому, таинственному влечению... оно существует и должно су-

ществовать, вопреки всем умствованиям людей ничтожных, иначе душа брошена в наше тело для того только, чтобы оно питалось и двигалось... Что такое были бы все цели, все труды человечества без любви? И разве нет иногда этого всемогущего сочувствия между народом и царем? Возьмите Наполеона и его войско! долго ли они прожили друг без друга?»

Повторяю, я не пропустил ни одного слова; поворот мысли от любви к отношениям Наполеона и его войска является полною неожиданностью, и, вероятно, для самого юного поэта связь между этими двумя родами человеческих отношений была не совсем ясна; он ее лишь чувствовал в себе, в своей собственной природе.

Из юношеских любовных увлечений Лермонтова наиболее известностью пользуется его роман с Хвостовой, урожденной Сушковой. Она сама рассказывает этот роман в своих «Записках», и хотя рассказ ее вызвал сомнения и опровержения в частностях³³, но в общем фактическая его часть подтверждается самим Лермонтовым³⁴. Про свое в высшей степени недостойное поведение в этом деле он рассказывает в письме к Верещагиной и, кроме того, целиком воспроизвел его в неоконченной повести «Княгиня Лиговская». 15-летним мальчиком Лермонтов очень увлекался Сушковой, которая была несколькими годами старше его, а она забавлялась этою любовью, причем, по-видимому, нисколько не щадила самолюбия будущего знаменитого поэта. Через несколько лет они встретились опять, и в Лермонтове, все-таки еще совсем молодом человеке, нашлось достаточно силы и желания дерзнуть и владеть, чтобы победить когда-то смеявшуюся над ним гордую красавицу, победить и компрометировать. Кроме непосредственного удовольствия, которое доставляла ему эта игра, она ему была нужна, по его собственному выражению, как «пьедестал». Он хотел играть роль в петербургском светском обществе, быть замеченным и, по его оправдавшемуся расчету, это удобнее всего было достигнуть громким, даже, пожалуй, скандальным романом. Все было пущено для этого в ход, вплоть до подложных анонимных писем. И Лермонтов понимал, что он делает дурное, злое дело. О герое «Княгини Лиговской», который проделывает с Негуровой все то, что сам Лермонтов проделал с Сушковой, говорится: «Ему надобно было, чтобы поддержать себя, приобрести то, что некоторые называют светскою известностью, то есть прослыть человеком, который может делать зло, когда ему вздумается... В нашем бедном обществе фраза: он погубил столько-то репута-

ций, значит почти: он выиграл столько-то сражений». Таким образом, Лермонтов отлично понимал «бедность» общества, в котором желал блистать, равно как и значение «светской известности». Что же касается собственно Сушковой, то безжалостное издевательство над ней оправдывалось в его глазах мстью. Он писал: «...я мщу за слезы, которые пять лет тому назад заставляло проливать меня кокетство m-lle Сушковой. О, наши счеты еще не кончены! Она заставила страдать сердце ребенка, а я только мучаю самолюбие старой кокетки»³⁵. В большинстве любовных приключений Лермонтова чувственность, по всем видимостям, не играла никакой роли, и, во всяком случае, его гораздо больше занимали тонкие и сложные операции над сердцем женщины, самый процесс этих операций. В «Странном человеке» одно из действующих лиц объясняет задумчивость героя тем, что его занимает вопрос, «как заставить женщину любить или признаться в том, что она притворялась». В «Маскараде» Арбенин (между прочим, вспоминая о «власти, с которою, порой, казнил толпу он словом, остротой») с каким-то диким психическим сладострастием добивается от Нины признания в том, что она притворялась. Это уже игра виртуоза.

Печорин (в «Княгине Лиговской») «знал аксиому, что поздно или рано слабые характеры покоряются сильным и непреклонным, следуя какому-то закону природы, доселе необъяснимому». Знал, конечно, эту аксиому и сам Лермонтов, и ему доставляло своеобразное наслаждение практически осуществлять ее при каких бы то ни было обстоятельствах, вполне сознавая мелочность, пошлость или даже преступность тех «пьедесталов», на которые ему приходилось иногда взбираться, чтобы оттуда дерзать и владеть. Только этим и объясняется его будто бы пристрастие к светскому обществу, за которое его так часто упрекали. Упреки эти, как известно, доходили до того, что, признавая огромный талант Лермонтова (его мало кто решался отрицать), его самого, как личность, совершенно вдвигали в толпу светских хлыщей и фатов, из которой, дескать, он выделялся разве только особенно несносным высокомерием и забиячеством, доходившим до бретерства. И много фактов, по-видимому, подтверждающих такой взгляд на Лермонтова. Даже Боденштедт, при всем своем глубочайшем уважении к нашему поэту, был неприятно поражен его личностью при первой встрече. Правда, на другой же день, при следующей встрече, это неприятное впечатление сгладилось, но и то

Боденштедт находит возможным сказать только такие добрые слова: «Лермонтов вполне умел быть милым. Отдаваясь кому-нибудь, он отдавался от всего сердца, только едва ли это с ним часто случалось... Людей же, недостаточно знавших его, чтобы извинять его недостатки за его высокие, обаятельные качества, он скорее отталкивал, нежели привлекал к себе, давая слишком много воли своему несколько колкому остроумию. Впрочем, он мог быть в то же время кроток и нежен, как ребенок, и вообще в характере его преобладало задумчивое, часто грустное настроение»³⁶.

Все это прекрасно, конечно, но далеко все-таки не соответствует тем высоким требованиям, которые невольно ставятся поэту, обнаружившему в своих произведениях такую исключительную мощь и глубину. Одним талантом, как бы он ни был велик, нельзя объяснить эту огненную и вместе с тем глубоко-мысленную поэзию — она должна была быть порождением, кроме таланта, еще из ряда вон выходящего ума и великого духа вообще. К счастью, на этот счет имеется показание, может быть, компетентнейшего из современников Лермонтова.

В свете Лермонтов все больше и больше преуспевал, уже не нуждаясь более в низменной спекуляции за счет прекрасных девиц. Стихи на смерть Пушкина, ссылка на Кавказ, дуэль с Барантом, новая ссылка — все это приковало к особе молодого офицера внимание светского общества, — внимание, частью почтительное, частью злобное. Одновременно шли и успехи в литературе. Он познакомился кое с кем из писателей, между прочим с Белинским, которого, однако, приводил в смущение отсутствием серьезности. По словам Панаева в «Литературных воспоминаниях», Белинский решительно недоумевал. Он говорил: «Сомневаться в том, что Лермонтов умен, было бы довольно странно, но я ни разу не слышал от него ни одного умного и дельного слова; он, кажется, нарочно щеголяет светской пустотой». Панаев, с своей стороны, прибавляет, что, «действительно, Лермонтов как будто щеголяет ею, желая еще примешивать к ней иногда что-то сатанинское и байроническое: пронзительные взгляды, ядовитые шуточки и улыбочки, страсть показать презрение к жизни, а иногда даже и задор бретера»³⁷. Мимоходом заметим: это *слова* Панаева; что же касается сообщаемых им фактов, то, собственно, в них довольно мудроно усмотреть щегольство светскою пустотой. Факты очень, впрочем, скудные. Панаев рассказывает, как однажды Лермонтов ни с того ни с сего долгим взглядом своих пронзи-

тельных черных глаз смутил некоего Языкова и даже заставил его выйти из комнаты в сильном нервном раздражении³⁸. Рассказывает еще об отношениях Лермонтова к Краевскому, тогда еще только начинавшему свое издательское поприще: они были «на ты» и Лермонтов позволял себе всякие школьничества с Краевским и разбрасывал его бумаги по полу, производил в его кабинете всяческую кутерьму и раз даже опрокинул его самого со стулом³⁹. Быть «на ты» с Краевским и школьничать в его кабинете, — это едва ли признаки щегольства великосветскостью. Рассказывает, однако, Панаев и еще один факт, в высшей степени интересный, а именно восторг Белинского, когда ему удалось наконец поговорить с Лермонтовым по-человечески. Случилось это в ордонанс-гаузе, где Лермонтов сидел под арестом за дуэль с Барантом. Белинский восторженно рассказывал Панаеву об этом свидании. <...> Письмо Белинского (к Боткину), в котором он говорит о своем свидании с Лермонтовым, было напечатано г. Пыпиным в его почтенном труде «Белинский, его жизнь и переписка» и затем неоднократно цитировалось в журналах. <...>

Белинский писал: «Недавно был я у Лермонтова в заточении и в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух!» И далее: «Я с ним спорил, и мне отрадно было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему, он улыбнулся и сказал: “Дай Бог!” Боже мой, как он ниже меня по своим понятиям и как я бесконечно ниже его в моем перед ним превосходстве! Каждое его слово — он сам, вся его натура, во всей глубине и целости своей. Я с ним робок — меня давят такие целостные, полные натуры; я перед ним благоговею и смиряюсь в сознании своего ничтожества»⁴⁰.

Наши художники-живописцы, вообще говоря, довольно равнодушны к русской литературе, и в особенности к ее истории. Но фигуры Лермонтова и Белинского достаточно, кажется, популярны и крупны, чтобы заинтересовать художника, и мудрено найти тему для картины более благодарную, чем это собеседование великого критика и великого поэта в ордонанс-гаузе. Представьте себе Лермонтова с привычно насмешливым складом губ и пронзительными черными глазами, от взгляда которых смущаются те, на кого он смотрит. Смущается, может быть, и Белинский, что не мешает ему, однако, «упорствуя, волнуясь и спеша»⁴¹, в горячей речи отстаивать свои «поня-

тия». Он твердо уверен в истинности и возвышенности этих понятий; но всем своим чутким и детски искренним существом чувствует, что в беседующем с ним гусарском поручике есть нечто, чего в нем самом нет и перед чем он должен преклониться...

IV

<...> Лермонтов шел в «свет», как на битву, хорошо подготовленный и вооруженный и соответственно вел себя там. Ходячее уподобление светских отношений Лермонтова и Пушкина решительно ни на чем не основано, кроме того чисто внешнего факта, что оба поэта возвращались в большом свете и оба хотели в нем вращаться. Никогда Лермонтов не был и, насколько мы знаем его духовную физиономию, не мог быть в таких двусмысленных положениях по отношению к сильным мира, в каких не раз приходилось бывать Пушкину, никогда он ничего не просил, не получал, не брал на себя никаких поручений, никогда никаким покровительством не пользовался. Пушкину только случалось призывать на себя своими стихотворениями грозу, Лермонтов же делал, кажется, все возможное, чтобы создать вокруг себя постоянную атмосферу недовольства, вражды, ненависти.

В заметке, отнюдь не в пользу Лермонтова пристрастной, кн. А. И. Васильчиков говорит: «Лермонтов не принадлежал к числу разочарованных, озлобленных поэтов, бичующих слабости и пороки людские из зависти, что не могут насладиться запретным плодом; он был человек вполне своего века, герой своего времени: века и времени, самых пустых в истории русской гражданственности. Но, живя этой жизнью, к коей все мы, юноши 30-х годов, были обречены, вращаясь в среде великосветского общества, придавленного и кассированного после катастрофы 14-го декабря, он глубоко и горько признавал его ничтожество и выражал это чувство не только в стихах “Печально я гляжу на наше поколенье”, но и в ежедневных, светских и товарищеских своих сношениях. От этого он был вообще нелюбим в кругу своих знакомых в гвардии и в петербургских салонах; при дворе его считали вредным, неблагонамеренным и притом, по фрунту, дурным офицером, и когда его убили, то одна высокопоставленная особа изволила выразиться, что “туда ему и дорога”. Все петербургское великосветское обще-

ство, махнув рукой, повторило это надгробное слово над храбрым офицером и великим поэтом»⁴².

<...> Вообще, взаимные отношения между поэтом и окружавшею его светскою средою были самые напряженные. Есть доля фактической правды даже в отдающем цинизмом замечании кн. Васильчикова, что если бы и не Мартынов, так все равно кто-нибудь другой рано или поздно убил бы Лермонтова⁴³. Последняя драма в жизни поэта, несмотря на свой, по-видимому, бессмысленно случайный характер, подготовлялась давно. Г. Висковатов сообщает со слов современников, что «многие» из бывших в то роковое лето в Пятигорске светских людей называли Лермонтова «ядовитой гадиной»⁴⁴. Эти благородные люди подговаривали молодого офицера Лисаневича вызвать поэта на дуэль, но Лисаневич объявил, что у него «не поднимется рука на такого человека»⁴⁵. У Мартынова поднялась... Все те резкие укоры, с которыми Лермонтов обращался к закулисным виновникам смерти Пушкина, вполне приложимы и к обществу, выдвинувшему Мартынова. Но надо все-таки признать, что сам Лермонтов был отнюдь не невинен в той атмосфере вражды и ненависти, которая вокруг него создалась. По свидетельству всех, оставивших какие-нибудь воспоминания о Лермонтове, как людей, благорасположенных к нему, так и не расположенных, немногие из его знакомых пользовались его искреннею и нежною привязанностью, а ко всем остальным он относился презрительно, заносчиво, враждебно, точно нарочно изыскивая предлоги к неприятностям и открытым столкновениям.

Мы поймем это, разумеется неприятное для окружающих, поведение, припомнив слова Печорина: «Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Быть всегда на страже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание их хитростей и замыслов — вот что я называю жизнью». Странная задача, странное понятие о «жизни»! Но такого рода странностями переполнена, можно сказать, жизнь как самого Лермонтова, так и действующих лиц его произведений. И во всех этих странностях виден все тот же человек, страстно жаждущий деятельности, именно в смысле психического воздействия на людей, задающий себе разнообразные, утонченно сложные задачи этого рода.

Действовать, бороться, покорять сердца, так или иначе оперировать над душами ближних и дальних, любимых и ненави-

димых — таково призвание или коренное требование природы всех выдающихся действующих лиц произведений Лермонтова, да и его самого. Им было бы совершенно дико и непонятно то преувеличенное почтение к мысли, идее, теории, которое получило такое яркое выражение в знаменитом «я мыслю, следовательно, существую» Декарта⁴⁶, равно как и многие другие блестящие страницы истории философии. «Я мыслю» — из этого еще ничего не следует. Мысль, идея есть лишь зачаток действия и сама по себе отнюдь не может служить доказательством или мерилom существования. Существование самой мысли еще нуждается в доказательстве, которое дается лишь обнаружением ее в действии. Припомните слова Печорина: «Идея зла не может войти в голову человека без того, чтобы он не захотел приложить ее к действительности; идеи — создания органические, их рождение уже дает им форму, и эта форма есть действие». Таков, по Лермонтову, естественный строй душевной жизни, и это воззрение весьма близко к тому, которое становится господствующим в современной психофизиологии. Лермонтов дошел до него не путем логических выкладок или систематического изучения; он прочел его готовым в своей собственной душе, которой была инстинктивно противна половинчатая жизнь замкнутой мысли, не завершенной действием. Столь же чуждо Лермонтову было и замкнутое, самодовлеющее художественное творчество. При всей его горячей любви и глубококом уважении к Пушкину, он никогда не подписался бы под известную поэтическую *profession de foi** своего старшего брата по искусству: «Не для житейского волненья... не для битв, мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв». Лермонтов желал, напротив, чтобы «мерный звук его могучих слов воспламенял бойца для битвы», чтобы его стих, «как Божий дух, носился над толпой и, отзыв мыслей благородных, звучал, как колокол на башне вечевой, во дни торжеств и бед народных».

Но если естественный строй душевной жизни требует превращения мысли в действие, то в действительности мы видим постоянные нарушения этого закона. Неудивительно поэтому, что значительная часть лермонтовской поэзии отличается резко отрицательным тоном. На каждом шагу наталкивался он на разнообразные формы отлучения мысли от дела или дела от мысли и, оскорбленный в коренном требовании своей природы, метал направо и налево свой «железный стих, облитый горе-

* исповеданием веры (*фр.*). — *Сост.*

чью и злостью». Нечего говорить о тех формах разлучения мысли и дела, которые могут быть сгруппированы под именем лицемерия. Вместе с другими большого роста людьми, освещающими путь человечества, Лермонтов клеймил, между прочим, и лицемерие, но не оно составляло специальный предмет его особенной вражды. «Теперь жизнь молодых людей более мысль, чем действие; героев нет, а наблюдателей чересчур много», — писал он, будучи еще юношей. Позже он печально глядит «на наше поколение», потому что «в бездействии состарится оно», потому что «мы вянем без борьбы», потому что «над миром мы пройдем без шума и следа, не бросивши векам ни мысли плодовиной, ни гением начатого труда». Заметьте эти выраженья; они не случайные красивые детища рифмы и ритма, как это часто бывает даже у высокоталантливых стихотворцев, а точное словесное отражение постоянной, излюбленной мысли поэта: мысль должна быть «плодovitа», т. е. иметь осязательный результат, быть действительной мыслью, а труд, т. е. дело, должен быть начат гением. Это полный, законченный круговорот сил, и все, что становится поперек дороги превращению мысли в дело, все, разрывающее эти звенья единой цепи, больно и оскорбительно уязвляет поэта. Условия современной Лермонтову русской гражданственности, и в частности условия нашей печати, не позволяли ему быть очень определенным в указаниях на обстоятельства, препятствующие свободному превращению мысли в действие, но свободолюбивый дух ясно дает себя знать во всей его поэзии. «Ты хочешь знать, что делал я на воле?» — спрашивает Мцыри и отвечает: «жил». Но вольная жизнь дикаря, вырвавшегося из монастыря или плена, есть, конечно, не идеал Лермонтова, а только символ идеала или схематическое его изображение. В эту схему надо еще ввести многое, дикарю неизвестное, а Лермонтову дорогое. Лермонтов мог с завистью смотреть и на Мцыри, живущего полную жизнь в общении с природой, в битве с барсом и т. д., и на других своих героев, заимствованных из кавказской и более или менее отдаленной русской жизни, у которых мысль и действие сливаются в одно неразрывное целое. Но если это и был рай, то рай потерянный, и навсегда. Надо создавать новый рай, в котором, так сказать, пропорции первобытной, стародавней жизни были бы сохранены, но содержание жизни было бы обогащено всем истинно ценным, приобретенным на историческом пути от Хаджи Абрека, или купца Калашникова, или горбача Вадима до Лермонтова. Но как это сделать?

В Хаджи Абреке или в Вадиме Лермонтов ценит, конечно, не зверскую их жестокость, а лишь ту пропорциональность или эквивалентность мысли и дела, которой он тщетно искал вокруг себя, в своих современниках. Преступность кровопролития, равно как и вообще азбуку гуманизма он понимал уж, разумеется, не хуже других. Об этом свидетельствуют даже минуты его отчаяния в будущности человеческого рода, в одну из которых он написал замечательный, хотя и малозамечаемый «Отрывок»:

Теперь я вижу: пышный свет
Не для людей был сотворен...

Люди сгинут, и «наш прах лишь землю умягчит другим, чистейшим существам. Не будут проклинять они; меж них ни злата, ни честей не будет, станут течь их дни невинные, как дни детей; меж них ни дружбу, ни любовь приличья цепи не сожмут, и братьев праведную кровь они со смехом не прольют». А мы, люди, будем смотреть на этот «рай земли» из «бездны тьмы» и казнить завистью и тоской: «Вот казнь за целые века злодейств, кипевших под луной»⁴⁷.

Этот вопль повторяется, лишь в более мягкой форме, в часто цитируемых строках из «Валерика».

И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек!
Чего он хочет?.. Небо ясно:
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он... Зачем?

А между тем об этой самой битве при Валерике Лермонтов писал одному из своих приятелей в таком тоне: «Нас было всего две тысячи пехоты, а их до шести тысяч, и все время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте, — кажется, хорошо!.. Я вошел во вкус войны и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдется удовольствий, которые бы не показались приторными»⁴⁸. Мало того, вскоре после битвы при Валерике мы видим Лермонтова чем-то вроде атамана шайки головорезов, предводителем сбродного партизанского «Лермонтовского отряда», во главе которого поэт проделывал настоящие фокусы отчаянной и совсем ненужной храбрости⁴⁹. Не уличить ли нам поэта в противоречии или не предоставить ли двум критикам доказывать — одному,

что Лермонтов был любитель «бранной забавы», а другому, что он эту «забаву» ненавидел? Это возможно. Мало писателей, суждения о которых были бы столь разноречивы и противоречивы, как о Лермонтове. Есть критики и биографы, характеризующие Лермонтова как протестанта по преимуществу, и в особенности подчеркивающие в нем «с небом гордую вражду»⁵⁰; но находятся и такие, которые полагают, что девизом его жизни и деятельности могут служить смиренномудрые слова: «Да будет воля Твоя»⁵¹. Одни ищут и находят в Лермонтове черты казенного патриотизма с барабанным боем, другие указывают черты резко противоположные. Одни помещают поэта между небом и землей в костюме «нарядной печали» и красивого презрения к маленьким и непрочным земным делам; другие приписывают ему, напротив, даже особливую приземистость. И все это, при желании и некотором, весьма даже незначительном, искусстве может быть доказываемо и подтверждено цитатами или ссылками на биографические факты. С таким же правом можно бы было доказывать и то, что Лермонтов был врагом кровопролития, и то, что он был его апологетом. Дело, однако, в том, что, не говоря о преходящих настроениях минуты, на которых ничего не следует строить, Лермонтов, совершенно независимо от своих убеждений, высоко ценил самую убежденность, засвидетельствованную делом. Пусть Хаджи Абрек зверь, пусть Вадим еще больший зверь, но Лермонтов видит в нем «великую душу», хотя и жалеет, что его «геройское терпение, скорость мысли и решительность» пошли на дело зверской, личной мести. И многое простил бы он своим современникам, если бы видел в них готовность постоять хоть за что-нибудь с такою же непоколебимую решимостью, с какою Хаджи Абрек, Калашников или Вадим стоят за свое дело.

В числе причин этого недуга бессилия любопытен «яд просвещения». Видеть в этом указании какой-нибудь протест против науки, теоретического знания как такового — совершенно неосновательно. Мимоходом сказать, школьное образование Лермонтова не было, конечно, значительно, но самостоятельно он, по-видимому, много учился, и не только в области изящной литературы, и не только в годы ранней юности. Так, в 1841 г., перед последней поездкой на Кавказ, он писал одному приятелю: «Покупаю для общего нашего обихода Лафатера и Галя и множество других книг»⁵². Это свидетельствует о довольно широких и разносторонних чисто умственных интересах, и если «просвещение» является в глазах Лермонтова «ядом», то лишь в том смысле, что оно, при известных условиях, так сказать,

парализует, подобно некоторым настоящим ядам, двигательные нервы, отнимает у них способность быть проводниками воли. И действительно, есть дозы и формы просвещения, которые, подмывая старые верования, служившие когда-то источником или импульсом деятельности, не дают взамен ничего нового и оставляют человека при голом скептицизме. Есть другие дозы и формы просвещения, которые делают мысль, идею, познание, теорию настолько преувеличенно привлекательными, что человек на них останавливается, не помышляя о превращении мысли в дело и теории в практику. Такое-то просвещение и есть, с точки зрения Лермонтова, яд.

Лермонтову казалось иногда, что и сам он отравлен этим ядом. Оно так и было до известной степени, но в несравненно большей мере его точил другой недуг. Он рассказал о нем словами Печорина: «Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? Для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому, что в душе моей я чувствую силы необъятные. Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных, из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений — лучший цвет жизни». Эта характеристика Печорина, сделанная им самим под диктовку Лермонтова, приложима и к Лермонтову, но с ограничениями. Ни из чего не видно, чтобы Лермонтов «навек утратил пыл благородных стремлений». Он умер слишком молодым, чтобы можно было делать подобные заключения, и все заставляет, напротив, думать, что он, в лице Печорина, слишком рано поставил на себе крест. Не совсем также верно, что он не угадал «своего назначения». Но зато вполне верно, что силы его были громадные и что эти силы тратились иногда на «приманки страстей пустых и неблагодарных». Исключительный размер сил Лермонтова сказался не только в его чарующей поэзии, совмещающей в своем содержании глубокую мысль и сильное чувство, а в своей форме — музыку стиха, живопись красок и пластику скульптуры. Исключительная сила выразилась и в житейских делах Лермонтова, даже в самых мелких и, прямо сказать, дрянных, нравственно безобразных. Нет имени его поведению в истории с Сушковой-Хвостовой, как мы ее знаем и от нее, и от него. Но, принимая в соображение его тогдашний мальчишеский возраст и житейскую, а в частности светскую, неопытность, нельзя все-таки не признать, что это — злая, бесспорно злая, работа, но работа недюжинной силы. И сила эта совер-

шенно особенная, редкий дар природы, приносящий с собой иногда много добра, иногда много зла, — дар дерзать и владеть, сила психического воздействия на людей. Печать этой силы лежит на всей поэзии Лермонтова, но и помимо поэзии она всегда рвалась в нем наружу, требовала работы, стихийно искала себе точки приложения. Именно стихийно. Лермонтов, по самой натуре своей, не мог не подчинять себе людей, так или иначе играя на струнах их душ, то намеренно их очаровывая, то столь же намеренно доводя их до озлобления. В последние годы своей жизни Лермонтов мечтал о том, чтобы выйти в отставку и совсем отдаться литературе, — он думал издавать журнал⁵³. Мудрено гадать, чего мы лишились благодаря неосуществлению этого проекта. Мудрено гадать даже о том, удовлетворился ли бы сколько-нибудь сам Лермонтов тою литературною деятельностью, какая была возможна в его время. Но вся жизнь его протекла в условиях, совершенно неблагоприятных для приискания деятельности, сколько-нибудь его достойной, за исключением, разумеется, поэзии, в которую он и вкладывал свою уязвленную душу. Отсюда мрачные мотивы и мрачный тон этой поэзии. В придачу к тяжким впечатлениям детства, быть может и преувеличенным пылкостью воображения и болезненной чуткостью поэта, в пору сознательной жизни явилось еще нечто вроде мук Прометея, у которого печень вновь вырастает по мере того, как ее клюет коршун. Мы видим, что даже в юнкерской школе, среди веселого разгула и непристойных упражнений в поэзии, Лермонтов внутренне угрызался и тосковал. И так было всю жизнь. Становясь на Кавказе во главе чего-то вроде шайки башибузуков, он находил некоторое удовлетворение, которое сам сравнивает с ощущениями азартной игры; но это лишь увлечение минуты, за которым следует горькое раздумье и разочарование. Слепая сила его собственной природы стихийно побуждала его дерзать и владеть где бы то ни было и при каких бы то ни было обстоятельствах, а голос разума и совести клеймил эту жизнь печатью пошлости и пустоты. Но опять, при первом удобном случае, при новой встрече с женщиной, при столкновении с новым обществом, жажда дерзать и владеть выступала вперед и опять голос разума и совести говорил: не то! не таково должно быть поле деятельности для «необъятных сил»! Немудрено, что в душе поэта вспыхивали зловецкие огни отчаяния и злого, мстительного чувства. Немудрено, что жизнь казалась ему временами «пустою и глупою шуткой»...

Кн. Васильчиков прав, говоря, что то было время «самое пустое в истории русской гражданственности», и указывая на «придавленность общества после катастрофы 14-го декабря». Но он не прав, называя Лермонтова «человеком вполне своего века, героем своего времени». Или, по крайней мере, это определение требует оговорки. Что бы ни хотел сказать Лермонтов заглавием своего романа — иронизировал ли он или говорил серьезно, собирательный ли тип хотел дать в Печорине или выдающуюся единицу, с себя ли писал «героя нашего времени» или нет, — для него самого его время было полным безвременьем. И он был настоящим героем безвременья.

